

ТРАДИЦИИ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ЭПИСТОЛОГРАФИИ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ АЛЕКСАНДРА ИЛЬЯНЕНА

Александр Викторович Марков

доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия)

e-mail: markovius@gmail.com

Аннотация. Онлайн-проза Александра Ильенена, признанная как один из самых значительных экспериментов современной русской литературы, не ограничивается рефлексией над возможностями письма и высказывания, но показывает, в какой степени возможна пересборка письменных форм. Проза Ильенена последнего времени представляет собой филологические наблюдения над возможностями разных видов письма создавать осмысленное высказывание о ситуации самоизоляции. Соотнесение этих видов письма с привычными жанрами невозможно, даже если мы применяем рамки романа и драмы. Гуманистическая эпистолография как способ производства ситуации, а не «роман с ключом», позволяет объяснить стратегии прозы Ильенена. Подробный анализ ренессансных писем Поджо показывает, что в них не столько утверждалась новая модель обращения с языком, возрождающая цicerоновский идеал, сколько разыгрывались жанры письма и поведения Цицерона и показывались их ограничения. Ирония, интриги, намеки, социальное проектирование в этих письмах предвосхищают тактики общения в блогах между знакомыми, но отличаются тем, что все авторы и герои таких писем – ответственные за принятие реальных политических решений.

Ключевые слова: эпистолография, Ренессанс, Поджо Браччолини, Александр Ильенен, стратегии письма, рефлексия, сетевая литература.

Сетевая литература никогда не бывает просто медийным феноменом, адаптацией литературных идей к нуждам коммуникации или набором следствий из ее ограничений и возможностей. Для изучения сетевой литературы интереснее не та, которая использует блог-платформу и ее интермедийные возможности (игра фотографиями, шрифтами) для актуализации той романной полистилистики, которая утрачивалась во все более формализованном печатном бытовании романа – шутки Стерна уже непредставимы в романе XIX в., но возможны в «Доме листьев» Марка Z. Данилевского или в «Инсектопедии» Х. Раффлза и «Циклопедии» Р. Негарестани гораздо больше, чем в “Liveblog” Меган Бойл, где слишком уж имитируется документальность и репортажность, как кажется, в ущерб той аванюре, с которой и начинался роман. Гораздо важнее рассмотреть те случаи, когда авантюра романа оказывается необходимой и для выбора блог-платформы, и для специфического речевого поведения, всякий раз доходящего до пределов выражения себя именно на этой платформе, так что все ее технические возможности исчерпываются без введения каких-то надстроек. Это и позволяет прожить еще раз историю романа – не имитируя его ходовыми средствами все более эффективных приемов, но смотря на то, как роман исторически состоялся в условиях вполне ограниченного медийного ресурса – когда

и формат книги, и шрифты, и многое другое определял издатель-типограф.

Романная проза Александра Ильянена уже рассматривалась с точки зрения медиума – платформы «ВКонтакте»: исследователи обращали внимание как на актуализацию технической метафоры «стены» и «страницы» [Kostincová: 104], так и на образ «стены» как полноценную метафору технического производства и информационного дозирования [Конаков: 262]. Эти исследователи указывали на связь условий производства такого романа с тематизацией художественного производства, но при этом не было дано ответа на два важных для нас вопроса: почему мы говорим об Ильянене как о романисте, а не о романизирующем эссеисте, в своеобразной технологизированной форме размышляющем в том числе над поэтикой романа, и почему мы вообще можем говорить о самостоятельной поэтике Ильянена, а не некоторой медийной ситуации, некоторой констелляции технических и речевых возможностей, которая и делает возможной такую поэтику? Говоря проще, почему мы можем различить и позицию Ильянена, и его проект как самостоятельно существующие, более того, делающие возможными филологическое высказывание, при постоянном подрыве как жанровых позиций романа, так и медийных позиций блогинга?

Александр Ильянен, переводчик и писатель-экспериментатор не просто создает ро-

ман из блога. Напротив, он показывает, как роман пишется и одновременно не пишется, но вдруг возникает. Так сделана «Пенсия», но если мы обратимся к нынешним дням, то увидим, что одновременно пишется и не пишется больше одного произведения. В записях 2020 г. рассказывается, по сути, о написании одновременно двух произведений, романа “Schadenfreude” (нем.: ‘злорадство’) и пьесы «Надежда Петровна» (которая передана или не передана в записи от 23 января французскому драматургу Бернар Мари Кольтесу). В роман оказывается включена глухота Бетховена (4 февраля), под влиянием радиопередачи и ассоциаций. Роман пишется со слуха, а пьеса – на ощупь. Но оба эти проекта не удаются, хотя этот “роман” постепенно переходит в более неопределенную формально прозу “Le confinement” (фр.: ‘тюремное заключение’), которая соответствует опыту самоизоляции с середины марта.

Такой способ письма лучше соотносить не столько с авантюрой европейского романа, сколько с той традицией, в которой жили в жизни почти как в романе: традицией эпистографии эпохи Возрождения. Нам придется делать довольно большие экскурсии в эту область, чтобы разобраться, как переписка равных производила не просто непредсказуемые эффекты, как сейчас, а жизненные, романские сюжеты. Ренессансная эпистография не была только пусть острым, но обменом репликами ученых умов, как мы

видим это ретроспективно, исходя из мифологемы «республики ученых». Республика ученых построена на том, что равный доступ к письму имеют как знающие друг друга лично, так и не знакомые – коллегиальный режим работы уравнивает всех, и он становится важнее для производства знания, чем личные качества и личная страсть адресатов и адресантов.

Здесь было наоборот: все друг друга знают, все могут и ругаться, и ругать третье лицо, и авторитет прошлого определяется не общими культурными ритуалами почтения к нему, а самой структурой обмена мнениями, где все же переписка не может длиться вечно и нужно обратиться поэтому к более тяжеловесному авторитету. Для такой полемики важна ее личная направленность: враждебная позиция никогда не представляется как позиция группы или школы, даже если речь идет о степени подражания Цицерону, не выделяется группа цicerонианцев. Борьба с Цицероном идет на другом уровне, о чем мы дальше скажем очень подробно.

Позднеантичные пособия Деметрия Фалерского и Прокла (или Либания, авторство точно не установлено), традиция которых была легко подхвачена в Византии [Черноглазов: 840–842], создали типологию писем, основанную не столько на содержании, сколько на перформативном производстве ситуации. Например, «дружеское послание» одновременно обращалось к другу и про-

славляло дружбу, создавая общий режим торжества этой ценности; «порицающее послание» не просто упрекало собеседника, но и создавало ситуацию всеобщего порицания этого дурного примера, тогда как «оправдательное» послание не столько оправдывает человека, сколько показывает, сколь вообще гнусна клевета. Иначе говоря, письма оказывались частью не биографической стратегии, но социального конструирования, что, конечно, легко воспринималось гуманистами как идеально соответствующее их проективному мышлению. Мы привыкли к другим письмовникам, в которых жанр определяется уместностью ситуации, адаптации речи к ней.

По сути, социальное конструирование происходит и у Ильенена, который изобретает свой опасный Китай еще до того, как масштабы пандемии стали известны. 8 января в его блоге [Ильенен] появляется необычный образ “Les Chinois dans la cage”, который поясняется только в записи от 15 января: из-за большого числа посетителей Эрмитажа номерков в гардеробе не хватало, и поэтому вещи целой китайской группы помещались в одну клетку, ящик. Между ними запись от 11 января: «прочитал утром: инопланетяне тайно помогают китайцам. Вторая новость: каждый русский немного старовер (это прав-

да). У меня две лЕстовки»¹. Этот анекдот потом превращается в газетное сообщение: «Во мхате за гардеробом нашли спрятанный китайский ресторан» (27 января). Причем все эти зловещие шутки обходятся без той конспирологии или подозрения в неполноте и недобросовестности информации, которые были бы даже в самой нейтральной газетной заметке. И здесь мы поэтому выходим уже на свойство не классических, но ренессансных писем создавать не просто достоверное сообщение, но достоверную текущую ситуацию.

Кватроченто открылось перепиской Забареллы и Салютати в связи с внезапной смертью сына последнего (1400), эта переписка стала вскоре известна, явно повлияв и на диалог Манетти, посвященный утешению во внезапной смерти. Забарелла требовал от Салютати полностью воспринять стоическую этику, справившись с болью так, как справлялись античные герои. Салютати, в свою очередь, возражает медикалистскими аргументами: подавление скорби приводит к раздвоенности, противоборству воле, дурно влияя и на физическое состояние организма. Для нас менее правдоподобным выглядит поведение Салютати: мы, привыкшие к романским «характерам», легко верим в существование моралистов и педантов, чита-

¹ Здесь и далее цитаты из блога приводятся по [Ильенен] с сохранением авторской орфографии и пунктуации.

ющих наставления даже охваченным горем людям, но с трудом можем подумать, что кто-то из глубоко скорбящих может выступить не просто с анализом обстоятельств, но с анализом того, как он оказался в этих обстоятельствах. Но в то время оба собеседника были равно возможны просто потому, что они оба опирались на единый тезис «смерть есть зло», из которого уже каждый выводил свой спектр моральных отношений и действий. Более того, чувственный Салютати был даже достовернее сурового классициста Забареллы, потому что ему было важно, что со злом нельзя жить рядом бесконечно (подробнее о нем см.: [Witt]).

По сути, здесь вводится отвечающее некоторой новой диспозиции жанров [Tinkler] пространственное восприятие того, что для стойка было бы рабочей моделью для принятия решений в частном случае: стоик сказал бы, что страдания всегда будут, поэтому надо это иметь в виду и сразу действовать надлежащим образом, тогда как и Забарелла, и Салютати исходят из того, что, если страдания постоянны и всегда рядом, мы должны скорее начать об этом переписываться и это обсуждать, и тогда силой риторики удастся создать должное отношение к происходящему. Можно говорить, что оба собеседника подменяют философию литературой, но нам сейчас важно не сколь далеко заходит подмена, а что, даже если она никуда не заходит, она уже работает.

Поэтому, если мы заглянем в диалог Манетти, мы не найдем там ни одной мысли, не сказанной в этой переписке, но при этом обвинять его в банальном плагиате идей было бы неосмотрительно: это просто означает, что Манетти проделывает ту же неподъемную культурную работу. Есть еще контекст таких разговоров, что кардинал Забарелла сам умел писать инвективы, и нужно было его одернуть, чтобы он не кончил плохо, как Цицерон, если будет брать с него пример и в жизни, и в философии. Поджо, правда, потом сам напишет инвективу против епископа Иакова Зенона, обвиняя его в той же тираничности, какой он жадный и хищный, но само производство инвектив уже было предопределено предварительным производством писем.

Такой же отказ от оригинального построения пьесы, отличающегося от простой фиксации фактов, мы видим в записях Ильянена. Содержание пьесы «Надежда Петровна» поясняется в записи от 24 января: «и идеальный шторм Глория», «и пожары в Австралии», «и сегодняшнее солнце». Наконец, пародийно упоминается о якобы стихотворении Жака Превера с таким названием. Иначе говоря, мы узнаем, что пьеса, по сути, о солнцевороте, после природных катаклизмов, о новом переживании солнца как центра. В таком случае пьеса должна пересобрать социальный опыт на основании нового переживания бытия, а не на основа-

нии следования тем нормам достоверности и недостоверности сообщения, которые вырабатывались предшествующей философией и предшествующей прессой. Можно сказать, что открывается режим вовлеченного переживания событий, чуждый любой подозрительности и конспирологии из-за непосредственного сообщения того, что сказано о текущем дне. Как достоверна запись календаря, так достоверны и сообщения в этой будущей прессе.

Фактологическое, календарное мышление и лежит в основе ренессансного обмена письмами как работы деловых людей [Hagge: 29], которые должны не только подтвердить особый стиль действия, но и создать новый стиль политики. Этим объясняется не только тщательный отбор писем для сборников, но и та странная особенность писем, что упоминаются высказывания третьих лиц, при том что эти лица могут ознакомиться с их содержанием, особенно если они будут изданы как корпус образцовых сочинений. Поджо включил в свой сборник писем и письма к Франческо Филельфо (1398–1481) уже после того, как не только он с ним поссорился, но и как с ним поссорилась вся Флоренция [De Keyser: 15]. При этом он сохранил эпитет «разумный» в обращениях к Филельфо. Но это можно объяснить тем, что, в отли-

чие от других флорентийцев, которые были мастерами писать только по-латыни, этот долгожитель умел писать по-гречески, вообще у него жена была гречанкой. Когда Поджо в письме П. Томмази (1447) (Fam. II, II, 1) рассказывает о уже минувшем конфликте Филельфо и Никколи, то говорит, что «по предписанию Господа нужно любить врагов, но нигде не читал предписания хвалить злых. Я ненавижу не Филельфо, а (злые) нравы» [Poggio: 117]¹, способ выставить себя и более терпимым, и большим мудрецом, чем философы.

Обычным было пересылать и чужие письма: например, когда Поджо пишет Джованни да Прато о примирении, сразу заявляет: «пошлю тебе еще три другие письма: Аретино, Николая и Барбаро <...> чтобы сообщить мои ошибки, которые скорее нужно скрывать, чем выводить» [Poggio: 117]. Иначе говоря, чужие письма не оправдывают тебя, а наоборот, осуждают, но именно это создает честную коммуникативную ситуацию, которой не могут достичь философы, всегда общаясь в своем постоянном кругу.

Или в письме Бруни в 1426 г., как раз когда переписка с Никколо была очень интенсивной, Поджо заметил: «Жду, когда Николай мне ответит» [Poggio: 47]. Это можно было бы счесть болтливостью, если бы не другое

¹ Здесь и далее письма Поджо Браччолини цитируются в переводе автора статьи.

письмо того же года, где Поджо замечает, что вот ты, Бруни, и Никколи, проявляли друг к другу «благожелательность издревле» [Poggio: 60], и заодно сообщает, что со всеми ними не против побеседовать Эрмолао Барбаро. Мы с некоторым удивлением и радостью узнаем здесь team-making, но при этом должны понимать, что привычные для нас обычаи побуждать людей к коллективному действию тогда были вовсе не само собой разумеющимися, особенно для преисполненных достоинства политиков с беспредельными (из-за отсутствия нормальных институциональных рамок) писательскими амбициями.

Сходное упоминание людей, говорящих о тех же предметах, и тоже в сетевых форматах, мы находим у Ильенена. Коронавирусная¹ инфекция прочитывается писателем в ключе фильма «Меланхолия» (2011) Ларса фон Триера: «В новостях: едут четырнадцать тысяч китайцев из зараженного коронавирусом района. На планету движется астероид размером с километр. // Утром необычайно яркое солнце мешает в полной мере ощутить меланхолию от новостей сми» (25 января). 2 марта романист-драматург-блогер признается, что «Меланхолию» не видел, но тут же оказывается, что планета приближалась не одна: уже были «Планета ВШЭ» – заявление ректора ВШЭ о возможном росте бедности –

и планета «Надежда Петровна», иначе говоря, пьеса о природных катаклизмах, которые ощутимы.

Тем самым этическое отношение к ощутимости происходящего оказывается гораздо важнее собирания частных мнений, важно, что эти мнения уже стали частью механизма медийной достоверности и ощущения свойств самого медиума. В таком случае пьеса или роман может состояться, как только прогнозы, которые выглядели как часть политической интриги, оказываются частью уже сыгранной романной интриги, потому что они более чем оправдались, точно так же, как упомянутые в ренессансных письмах лица уже не могут интриговать, но могут встретиться автору писем на других этапах творчества, уже в период инвектив, диалогов, философских размышлений, или, наоборот, деятельной политической практики, поддерживаемой специфической импровизационной риторикой [Monfasani].

Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Джованни Понтано были признаны образцовыми эпистологами еще при жизни. И, конечно, широкий круг корреспондентов как вытекал из их политического влияния, фактически нахождения на руководящих должностях во Флоренции, так и способствовал публикации писем: все равно же всем

¹ Ильенен употребляет формы как «коронавирус», так и «короновирис», которой мы следуем в нашем тексте как отвечающей русской морфологии; семантического различия между двумя вариантами мы пока не заметили.

все уже известно, это уже не письма, а как бы препринты идей. Именно их сборники писем не раз переиздавались во второй половине века. Важно, что они писали из Флоренции, показывая пример, каким должен быть флорентиец. Географическую революцию совершил работавший долго в Неаполе Антонио Беккаделли по прозванию Панормита, который не просто указывал, писал ли он из Галлии или из Кампании, но упорядочил сборник своих писем не по адресатам, хронологии или темам, но географическому месту адресантства.

Все эти люди, кроме издаваемой переписки, вели деловую переписку, которая, в отличие от ученой, шла на народном языке. К этим письмам канон латинской учености не был применим вдвойне: ни риторические советы, как организовать письмо, ни система жанров не работали. Вместо риторики применялась простая прагматика адресации – в первой же строке обозначить цель письма, а просьбу излагать как можно подробнее, в чем проситель как бы умалился, что вот его слова недостойны адресата, и он поэтому скажет как можно больше и как можно яснее. Эти письма никто не стал бы издавать изящным томом, они как бы имели биографический смысл, но жанры в них были жанрами бюрократического документооборота, такие как *instruzioni* (инструкции), *recordi* (отчеты), *ordini* (распоряжения), сразу опознававшиеся по вводным оборотам, иногда

латинским. Конечно, и в бюрократическом письме были свои мастера, умевшие архаизировать диалект и насытить его намеками на латинскую ученость, например Маттео Боярдо (1460–1494), но ясно, что это не хрестоматийная литература.

Другое дело, что официальная эпистолография породила собственный жанр, так же как латинская – литературно-философскую прозу, так и она – наставительное послание. Наставительное послание Понтано Альфонсу Калабрийскому (Альфонсу великодушному), написанное в 1468 г. и изданное в Неаполе в сентябре 1490 г. как «Книга о государе», может показаться нам памятником льстивого камерализма или вообще прямолинейной пропаганды, или, если мы больше расположены к автору и герою, созданием идеализированного образа [Ковриженко]. Однако оно просто доводило до предела все то, что в деловых письмах сдерживалось частностью их задач: здесь уже откровенно государь уподоблялся Господу и благопристойное поведение обосновывалось выполнением просьб: что он исполняет просьбы, получается, не только нижестоящих, но и вышестоящего.

Ученые письма не требовали, в отличие от деловых, напоминать о собственных заслугах и посвящать адресата в текущую деятельность. Но другое дело, что автору таких писем нужно было хорошо понимать, почему он пользуется такой репутацией среди друзей-коллег. Например, Понтано в последние

годы жизни часто посылает в письмах и свои стихи, чего он почти не делал раньше. Мы бы сочли это блажью старика, который ценит каждое усладительное мгновение своей жизни, или же, наоборот, высоким самосознанием поэта, который убежден в значимости того, что он делает, и боится, что иначе в случае внезапной смерти его стихи пропадут. Но оба эти объяснения, понятные нам после романного опыта, совсем не годятся для той эпохи, когда вопрос о признании существовал, а мелодраматического публичного образа не было. Просто Понтано счел, что друзья достаточно уже расположены к нему, что он может знакомить их с набросками и этюдами, как бы мы сказали, пустить их в свою мастерскую. Он и обращается к ним прямо как к эрудитам, как людям утонченным, культурным, имея в виду не то, о чем бы мы подумали, что они ценители стихов (как раз ценители могут не оценить стариковских порывов), а о то, что они понимают, что Понтано становился чем старше, тем опытнее и примернее.

Такое расщепление структуры текста инородной стиховой вставкой, которая тоже означает не субъективное пристрастие, а определенную философию возраста, мы видим в рассматриваемой прозе Ильенена. По-настоящему разрушает структуру создаваемого им романа о неприязни смерть Пьера Гийота. Дело в том, что (8 февраля) об этой смерти читает на сайте радио, здесь смешиваются слушание радио и чтение, разные

типы впечатлений, вопреки прежней решимости для романа держаться слухов и слуховых источников, раз он про зависть и ненависть. После этого распадается и высказывание о коронавирусе. С одной стороны, это трансязыковой поэтический переход: «Моллебен на китайском проведут в Благовещенске из-за коронавируса» (11 февраля). Но это и романый принцип серийности с простым перечислением: «сериалы cereals (гречка, овес, пшено, рис)» (12 февраля), не переход из языка в язык, а исключительно слипание слов, своеобразная мудрость. И как конструировалась такая мудрость, не на заимствованиях из античных источников, а на особых коммуникативных транскультурных конструкциях, мы сейчас и рассмотрим.

Поджо в 1436 г. издал переписку 1420-х гг. с эрудитом и коллекционером Никколо Никколи – Поджо начал переписку, выполняя дипломатическую миссию в Лондоне, и конечно, географическая отдаленность санкционировала разнообразие поучительных тем и то самое новое пространственное воображение, которое требует по-новому использовать философию. Нам трудно представить трактат против писем, но именно так поступил Лоренцо Валла в «Противоядиях», одной из его инвектив середины века, где он от лица Джаноццо Манетти (ученика Амброджо Траверсари и советника Альфонсо Арагонского, чью «Речь о достоинстве и свободе человека» так любили цитировать и в советское время)

критикует стиль писем Поджо. Опять мы видим особое отношение трактата и диалога: если человек не пожаловался (Манетти умер в 1459 г.), что в письмах его позиция изложена не так, как следует, то он ничего не сможет возразить против диалога. Главная мысль Валлы-Манетти – это то, что Поджо плохой цicerонианец, подражает разве Теренцию, иначе говоря, что он склонен к разговорной речи, что вызвано не его стилистическими предпочтениями, а ценностными установками – ему хочется обо всем рассказать, он, как бы мы сейчас сказали, работает на популярность и удовлетворяет любопытство. Поссорившись в 1454 г. с Валлой, Поджо не жалел грубых слов ни против него, ни против любых его учеников.

Для любого современного читателя переписка Браччолини и Никколи – профессиональная консультация знатоков древности, библиофилов, которая интересна нам как интересный пример интересной деятельности коллекционеров. Но если мы обратимся к этой переписке, то не найдем самого главного для нас – внимания и почтения к любой детали, к любому артефакту или рукописи. Например, корреспонденты обсуждают, что Николай Кузанский привез много рукописей, но большая часть их не ценна, вместо того чтобы сообщить хотя бы названия рукописей. Для них важнее умение представить себя знатоками, чем действительно применить свои знания для характеристики рукописей.

Кроме того, мы привыкли, что в переписке люди дополняют друг друга, делясь своими знаниями, увлечениями и интересами. Но здесь, наоборот, их ценностные установки, уровень знаний и способ обращения с традицией почти совпадают. Единственное, в чем они расходятся, – опять же в литературном обеспечении философской этики: Поджо требует от Никколо, чтобы они не просто дружески переписывались, но чтобы их переписка была образцом дружбы и оправдала их в веках. То, что для нас скорее ассоциируется с мечтой Манилова, как они станут лучшими друзьями с Чичиковым и царь за это пожалует их генералами, здесь было вполне серьезной программой. Поджо считал, что если дружба подтверждается на деле, то становится понятно, почему плохи скупость и тщеславие.

Или Поджо Браччолини рассказывает, как он охотился за книгами в северных монастырях, и дает живую пренебрежительную характеристику их насельников: это «варвары», «воспитанные на софизмах, а не науке» (*et sophismatibus eruditos potius quam doctrina*) [Poggio: 43]. В этой краткой характеристике замечательно, что уже видна полемика ренессансных эрудитов против логики и философии как «софистики» и отождествление науки со знанием тех книг, где можно посмотреть нужное. Поэтому и можно отличать книги нужные от ненужных. Важно не то, что другие из них могут вычитать, а важ-

но, что в данной конфигурации переписки, в данной ее констелляции, оказывается важным как *литература*.

Итак, набивание себе цены оказывается формой вообще письма как такового, оформления своей мысли в письменные слова. Поджо пишет инвективу против Гуарино Гуарини в полемической защите Цезаря в сравнении со Сципионом. Понять эту инвективу нельзя, если не вспомнить хрестоматийный эпизод из первых книг «Града Божия» Аврелия Августина, в котором Августин указывает на мудрость и осмотрительность Сципиона, внутри целого своей историософской теории противопоставляя их насилию и фанатизму других строителей Империи. Тогда Гуарини следует как бы поверхностному смыслу высказывания Августина, принимая его наивно. Тогда как Поджо учитывает все учение Августина, в котором добродетели язычников могут быть все обесценены, поэтому и выставляет себя не только великим цicerонианцем, но и великим августиновцем.

Но так же и Ильянен говорит о возможности обесценить все прочитанные наставления и советы. В его блогерской прозе чтение новостей и заметок в Сети обозначается словами Блока «Легкой скуки яд» (18 февраля), а 1 марта цитата из «Незнакомки» про крендель обозначает радость встреч. Таким образом, новости оказываются скучны именно потому, что уже разрушена прямая передача на слух, многое приходится читать в пись-

менном виде, а в самоизоляции роль письма только усилится. Такое пародирование устных шифровок происходит постоянно: 6 марта новость «Эбк», расшифрованная как «Эрмитаж без китайцев», но тут же конспект впечатлений смешивает медийные формы с непосредственными ощущениями: «Падение Рубля и солнце как событие» (9 марта). Тем самым, как и Поджо, Ильянен открывает исчерпанность письма как формы и сообщения как формы, но при этом не может сразу перейти к прямой инвективе или иной пороманному увлекающей форме человеческих отношений.

В письме от 16 января 1415 г. Поджо презрительно говорит о еврее, учившем его библейскому ивриту: «Он человек пустой, бестолковый и непостоянный, литературное умение и ученость его столь грубы, неотесанны и дики, что я не могу не смеяться» [Poggio: 92]. Мы могли бы заподозрить здесь снобизм латиниста-цицеронианца, узнавшего из трудов Цицерона о нормах светского изящества и культуры и применяющего их к месту и не к месту. Может быть, было бы и так, если бы он дальше не поделился своими впечатлениями от баденских купален: «Я полагаю, что это место и есть то, в котором был создан первый человек и которое евреи называют *Ганеден*, то есть сад наслаждений» [Poggio: 92]. В этом письме иногда видят первую похвалу рекреационному туризму, но на самом деле здесь речь идет о другом, что он-то мо-

жет применять знания иврита, а его учитель не может, как и северные монахи не умели находить нужные книги, а просто пользовались всеми софизмами без разбора. Манетти и Пико делла Мирандола с гораздо большим отношением говорили о своих учителях иврита, но именно потому, что они были уже не людьми эпистолярия, а людьми диспута.

Таким презираемым учителем для Ильенена в его прозе становится Сартр. Романист, отрешившись от суеты, пытается восстановить написание романа, просматривая сериалы без конца и дочитывая «Идиот в семье» Ж.-П. Сартра одновременно с книгой Пастуро о сером цвете (на самом деле, в серии книг Пастуро о цветах серого нет) (13 марта). И вроде бы в какой-то момент, перед началом самоизоляции, оба произведения удаётся хотя бы немного написать: роман “Schadenfreude” упоминается 14 марта, после того как «сегодня о коронавирусе читал все утро / вчера слушал о деревьях», иначе говоря, когда удаётся систематизировать все знания, но следующие шифровки 16 марта “le PAD (plaisir aristocratique de deplaire)” (аристократическое удовольствие не нравится) и «мпв (Маленькая победоносная война)» не подразумевают никакой щедрости.

Поджо и его корреспонденты еще только изобретают благородство в тяжелой обстановке, а не благородно начинают диспут, как стало возможно во второй половине того же века. В одном из первых писем эпистоляр-

ного обмена Поджо утешает из своего прекрасного далека безвыездно сидящего во Флоренции Никколо, который обижен инвективой против него. Поджо просто говорит, что надо повести себя по-христиански, не воздать злом за зло. Но основанием для его утверждения служит то, что во Флоренции в целом благородные люди, которые не будут верить клевете, напротив, будут ее презирать. Но как конструируется это благородство? Тем, что Поджо говорит, что в путешествии он проходит через гораздо более страшные опасности и неурядицы. Вызывая дружеское сочувствие и при этом конструируя, как мы сказали, норму дружбы, он конструирует и норму благородства, и тем самым корреспондент должен будет принять этот конструкт как само собой разумеющееся.

У Ильенена 23 марта появляется как бы конспект романа: «Роман Schadenfreude / А также: солнце, весна, как на картине Боттичелли, Нева, чайки, рыбаки поставили свою избушку, ловить корюшку, недалеко от моста, на прежнем месте, сериалы, cereals (греча)» – иначе говоря, темой романа оказывается повторяемость явлений, даже пародируемая образом наступания на грабли. Но наступает период самоизоляции, и оказывается, что можно теперь конструировать норму чувственного восприятия явлений, а не текст, важнее благородно пережить весну, а не написать о ней. По сути, Ильенен совер-

шает тот же самый шаг, что и Поджо.

Еще важный пример конструирования реальности у Поджо оказывается связан с именем образцового раннесредневекового риторика. Поджо в своих письмах часто цитирует Иоанна Златоуста, при этом указывая, что это был такой чемпион красноречия, что сила его слов пробивается и через дурной перевод. Казалось бы, это снобистское набивание себе цены, но дело в том, что почитателем Иоанна Златоуста был Амброджо Траверсари, фигура исключительно важная в становлении флорентийского Ренессанса, который в 1430 г. перевел и опубликовал с посвящением папе Евгению «Диалог о жизни Иоанна Златоуста» Палладия Еленопольского. Никколо Никколи дружил с Амброджо, чтит его, вел с ним дела. Нет ли здесь шпильки? Но через 15 лет, в письме 1455 г., он говорит, что все гуманисты, начиная с Петрарки, были самоучками в красноречии, и среди них «наш светоч» (*lumen*). Это еще большая ирония про Амброджо Траверсари, светоч-то он для адресата, а не для адресанта, но получается, что все неизбежно не очень красноречивы, один только Поджо красноречив. А почему? Потому что, начав разговор о Златоусте, он заявил сразу критерий, что важно не духовное содержание, не поучительность, а опять же только умение извлечь потребное: «Если бы еще переводчик был красноречивее, ничего бы не было учение этого текста Златоуста» [Poggio: 312]

Тогда нам становится понятно, почему не получилось и второе произведение Ильянена «Надежда Петровна». Разговор о нем возобновляется с уже избитой во множестве блогов и шуток приметой самоизоляции, в магазинах заканчивается гречка (20 марта), и состоит из пародий на известные названия: «Ложь и правда русского короновируса (далее – РКв) Бердяев», «Пир во время Кв» (23 марта) и т. д. Получается, что эта пьеса о повороте на весну, которая должна показать образцовые способы высказывания о природных закономерностях, только образцово пародирует заголовки. Пьеса может задумываться как апофеоз абсурдизма и психологизма, но как только начинается диалог об условиях производства идей, как Поджо начинал диалог об условиях производства богословия, так тут же некоторая ирония позволяет только восхищаться достижениями отдельных лиц. Поджо восхищается духовными лицами, Ильянен – интеллектуалами.

Вообще, перед духовными лицами (а им адресовано немало писем) Поджо всегда предстает как переводчик и знаток античных авторов, показывая свою античную эрудицию и любезно отвечая на их просьбы. Он нередко употребляет патристические слова в этих письмах духовным лицам, введенные Августином или Боэцием, такие как *momentanea* или *sempiternitas*. Иначе говоря, он видит в них тех, кто, если что, мирят всех, и могут помирить его со всеми. Но можно

видеть и в этой адаптации к патристической образованности такое отстранение от корпоративного узуса в пользу обострения своей позиции. Обличение бенедиктинцев, имевших девизом имя «Иисус», как «Иисусиан», «под именем Иисуса новая еретическая секта». Хотя слово «секта» и есть латинский перевод греческого «ересь», и здесь получается межъязыковая тавтология – но здесь как бы два слова вместо одного показывают всю историю борьбы патристики против ересей, тоже такое адаптирующее подольщение, оказывающееся опровержением. Точно так же Ильянен 28 марта, после нескольких как бы тавтологичных, повторяющих друг друга солнечных дней, превращает роман “Schadenfreude” в роман “Le confinement”, «хоть слово это дико».

Новый как бы роман Ильянена “Le Confinement” отождествляет образ автора с Японией периода Эдо, недоступной европейцам (2 апреля), общую самоизоляцию – с днями Наполеона на святой Елене (3 апреля), природу в этот период – с китайским созерцанием природы (4 апреля). По сути, перед нами тот же шаг, который часто совершает Поджо, когда понимает, что для того, чтобы его письма продолжали вызывать интерес, нужно, чтобы его за его красноречие не отождествляли с Цицероном, иначе в нем увидят светлого и не очень удачливого политика. Поэтому он выработывает стратегии дискредитации Цицерона, заявляя, что у Цицерона

ничему особо учиться, потому что эффекты его речи уже состоялись, как и по Ильянену у карантина ничему учиться, потому что его эффекты уже состоялись в истории Японии или Наполеона.

Поджо прямо настаивал на том, что письма лучше диалогов, ставя в пример письма Цицерона, тем самым фактически и объявляя себя единственным цицеронианцем, кто правильно может инструментализировать наследие Цицерона. Диалоги Цицерона вялы, а его письма «более украшены и более обильны» (*ornatiores et uberiores*). Поэтому Поджо всячески превозносит письмо и принижает диалог. Например, когда он спрашивает мнение Никколи о своем диалоге, он не интересуется мнением как таковым, он хочет «обобщить с тобой мое мнение», иначе говоря, превратить диалог в область общего само собой разумеющегося отношения, тогда как постановку новых проблем производить в письмах.

Или, когда он в 1428 г. почти поссорился с Никколо, то заявил ему: «С юности я писал не ради вымысла, но ради сообщения истины» [Roggio: 298]. Ключевым здесь оказывается слово «сообщение», столь ключевое для всей литературной стратегии Ильянена, когда мы столько говорили о радио и шифровках: истину не добывают, не выигрывают в споре, не узнают у великих философов, истину сразу сообщают, как пишут письма. Изящный способ в разгар ссоры сделать свое мнение статутарно неоспоримым.

Письмо Поджо к Леонелло д'Эсте (I, V, 9) здесь очень характерно. Сначала он говорит: «Двойствен к истинной славе и похвале путь, один путь через упражнение в военном деле, другой путь через литературный досуг <...> Я не обсуждаю, нужно ли предпочесть одно другому» [Poggio: 24]. Усердие ученых делает бессмертными воинские деяния царей и полководцев (*imperatores*). Казалось бы, Поджо намекает на себя. Но он вдруг заявляет, что писатели всё уже сказали о славных деяниях, и примеров столько, что Поджо для их изложения не нужен: «Укрепи себя к верному способу жизни (*ad rectam vivendi rationem*), чтобы, когда ты повзрослеешь, ты мог употребить себя на великие дела (*queas accomodare rebus maioribus*)...» [ibid.]. В этом письме с опорой на речь Цицерона «В защиту Архия» раскрывается природа славы. Тем самым Цицерон оказывается лишь частным примером эпистолографа, в принципе обеспеченным моральными узусами, – но потом к нему можно обратиться как к раскрывающему природу вещей, после того как все актуальные контексты конфликтов и взаимодействий уже обсудили.

В следующем письме Поджо заявляет, в каком порядке надо читать Цицерона, чтобы стать образованным человеком: сначала его труды о риторике, потом речи, потом философские труды. Леонардо Бруни считал так же, здесь Поджо берет готовую педагогическую программу. Однако, взяв готовое, он

подтверждает это не запросами или опытом современной ему педагогики, но самим Цицероном, а именно, рассуждением из диалога «Брут», что красноречие (*eloquentia*) требует благоразумия (*prudentia*). В таком случае оказывается, что если цicerоновскую технику усвоили все, и тем более смогли обернуться политиками не хуже несчастного в политике Цицерона, то отнестись к *prudentia* как Цицерон смог только Браччолини и именно как эпистолограф!

Был еще один важный способ дискредитировать Цицерона и философию одновременно. В 1450 г. В письме Георгию Трапезундскому Поджо объясняет, что он говорит не как философ, а как обычный писатель, иначе говоря, свободно, а не терминологически. Этим он извиняет себя в возникшем между ними непонимании, что какой-то оборот из прежнего был неправильно понят адресатом и привел к недоумению – он просто растворяет это недоумение в том спектре ситуаций, которые создают письма как продолжение диктовки как медийного бытия текста, о чем есть исследование: [Ward]. Конечно, можно быть философом и выражаться точно, но философ, подразумевается, вообще бы не стал с тобой переписываться. Отличный способ поставить Георгия Трапезундского на место, но так, чтобы он воспринял это извинение как льстящее ему!

Эту свободу нужно понимать не просто как стилистическую стратегию, а как часть

новой системы ценностей, опять же позволяющей самоутвердиться не только за счет современников, но и за счет Цицерона. Так, в письме Лоски (II, I, 2) Поджо заметил, что, в отличие от древних римлян, у которых, по свидетельству Цицерона, досуг был редок, у современных флорентийцев досуг заполняет значительную часть жизни, поэтому они «не просто свободные, но свободнейшие» [Poggio: 202]. Здесь просто поразительная аналогия с прозой Ильянена: в начале апреля он открывает, что все состоит из карантина, даже сама природа, как и для цецеронианца ренессансной эпохи все, даже живая природа, состоит из общих мест Цицерона. Но именно тогда роман находит свое окончательное название, в том числе и в переводе «Карантин», потому что субъект письма понимает, что он гораздо свободнее прежних писателей – он может не учитывать привычные поводы для мысли, но постоянно расширять круг своего чтения и возможности чтения.

Так было и для Поджо, только на месте досужего чтения стояло церковное и церковно-юридическое чтение. Свободен тот, кто может читать не только Цицерона, но и скучную судебную прозу, но в этом и будет проявляться осуществленность политического проекта, где благоразумие определяет не только эффекты, но и предпосылки чтения. Поджо (II, IV, 1) говорит одному из адресатов о прозе канонического (церковного) права, в каковой области тому предстоит работать,

что не нужно жалеть об отсутствии красноречия в этих делах, потому что вопросы решаются важные. Ясно, что речь не столько о плохом красноречии духовенства, сколько о том, что весьма трудно разбирать такие судебные дела. Но настоящий ценитель понимает, что, где прозе жизни отвечает проза изложения, там можно как раз оценить достоинства и недостатки самих принимаемых в соответствии с каноническим правом решений.

Интереснее всего, что в пасхальной записи от 19 апреля Ильянен ссылается на слова С. Завьялова, что античные риторы и были поэтами. Конечно, имеется в виду не поэзия в смысле соблюдения регулярного метра, а скорее те степени свободы, которые показывают не только увлечение церковно-каноническим правом, но и переход письма в новеллу. Такова «История двух возлюбленных» [Пикколомини], Эвриала и Лукреции, в письме знаменитого Энея Сильвио Пикколомини, он же римский папа Пий, которому, в отличие от Поджо, приходилось заниматься каноническим правом по должности. Примечательно, что первое издание, вышедшее в Венеции в 1504 г., называется: «История Папы Пия о двух любящих; со множеством любовных писем». Это сюжет о несчастной любви юноши к замужней женщине и трагической смерти героини, который почти совпадает – во всяком случае, до горестного итога, который совсем другой, – с сюжетом

первой новеллы четвертого дня в «Декамероне» Боккаччо. Но основное внимание уделено не отношениям дочери и отца, а психологии общения возлюбленных, муж Лукреции Менелай дан весьма насмешливо, начиная с самого «гомеровского» имени, а отец не имеет, в отличие от версии Боккаччо, никаких характеристик. Юноша-любовник – не просто благодетельствованный слуга, но мелкий рыцарь германского происхождения, что позволяет отметить его необычность и противопоставить страстность его любви начальной уклончивости любовницы. Тем самым цинероновский стоицизм, для которого человек никогда до конца не принадлежит себе, но всегда хоть в чем-то – чувству и в чем-то – долгу, не выдерживает проверки при столкновении с самим письменным медиумом, где оказывается, что разные степени страстности становятся предметом не просто отрешенного воображаемого переживания, но письменной фиксации. Но так же и Ильянен говорит о риториках-поэтах, которые не устанавливают условия свободы в сюжете, но самим пользованием и устным, и письменным словом могут возвестить пасхальную весть, даже когда все прочие способы возвещения заблокированы рефлексией над мыслями эпохи самоизоляции.

Это, можно сказать, подражание Петрарке и Боккаччо, с попыткой вписать это подражание в контекст литературных любовных писем, от Овидия до Абельяра. Прием ретар-

дации (которому у Ильянена соответствует досужее чтение книг) тут становится главным, захватывая объем как за счет типичных приемов средневекового романа, так и за счет типичных «речей» любовников и даже любовников со служанкой. Заканчивается история скорее мотивом античных романов – подробное описание судьбы разлученных героев: смерть запертой навеки героини от горя и столь же навеки нескончаемое блуждание героя.

Захватывающий сюжет в таком описании полностью уничтожается, и завершается все моралью, восходящей к Платону и заимствованной в разное время, но с равным успехом Фичино, Полициано и Лоренцо: любовь скорее горькая, чем сладостная. Такой прием парадоксально ставит для читателя-современника всю изложенную историю в ряд «примеров» из древней и новой литературы, количество которых может быть весьма большим, и оправдывает весь рассказ и все мелкие составляющие сюжета. Счастливую издательскую судьбу «История» Папы Пия получила в XVII в., начиная с 1630-х гг., а в России – только недавно.

Другой вариант такой свободнейшей свободы – философские письма. В 1433 г. выходит перевод писем Платона (подлинность их очень сомнительна) на латинский язык, выполненный Леонардо Бруни, и это создает возможность вовлекать в переписку в качестве корреспондентов и героев фило-

софов или тех, кто притворяется таковыми. Мы сейчас не будем разбирать переписку Марсилио Фичино (переведшего письма Псевдо-Дионисия Ареопагита) или Пико делла Мирандола, их период требует особых методов и подходов, равно как их мистика, ссылки на то, как письмо было поручено написать в сновидении. Отметим только, что эти письма всегда начинаются похвалой адресату, его качествам и поиском того раздела философии, который подойдет именно этому адресату – письмо тогда напоминает медицинский рецепт, и конечно, это был единственный способ отстоять автономию философии перед наступлением литературы. Скажем, в письмах Фичино если речь в преамбуле о твердости характера адресата – дается учение о природе, о ее ступенях, то есть о чем-то твердом и неизменном. Если речь о рассудительности – рассматриваются типы жизни, деятельная, созерцательная, гедонистическая, то есть та область, где более всего требуется рассуждение. Но так же точно происходит и в прозе Ильянена, где автономия философии отстаивается как автономия смотреть на типы уже не жизни, а литературной деятельности философов и раторов. Тогда и можно перейти от пародирования заголовков Бердяева или Сартра в попытке написать хотя бы пьесу к переживанию филологических воспоминаний как единственному способу написать убедительный карантинный роман. Я не знаю, читает ли За-

вьялов Ильянена сейчас, но то, что создалась именно ренессансная ситуация писем – которые предложили в своем стилистическом Цицеронианстве альтернативу Цицерону, даже если политика требовала инвектив – это несомненно.

Таким образом, новейшая проза Ильянена складывается вовсе не только из осмысления медийных и литературных возможностей блога. Это осмысление и всего, что сопровождает блог: как в него попадают сообщения, как они фиксируются, как они приобретают культурную и общественную значимость. При этом Ильянен оказывается учеником Поджо и даже похожим на него в чем-то своим остроумием, парадоксальным морализмом и нелюбовью к авторитетам. Можно было бы написать характерологическое сравнение этих двух авторов разных эпох, но нас пока об этом не просят. Поэтому мы можем говорить, что в новейших текстах Ильянен воспроизвел все те стратегии спора с авторитетами и критической оценки сообщений и стоящих за ними способов выстраивания человеческих отношений, что и Поджо. Как и ренессансные гуманисты, он настаивает на альтернативе литературе, как они настаивали на альтернативе Цицерону или чистому антикваризму и коллекционированию книг и древностей.

Как тогда альтернативу создавал сам медиум письма, вовлекающий людей в новые социальные связи и способы производства

смыслов, обесмысливающие стоицизм Цицерона при всей непоколебимости его стилистического идеала, так и теперь само письмо создает альтернативу традиционному роману, где ничего не бывает точно достоверным или точно недостоверным, все вымышлено. Ильянен строго различает достоверность и недостоверность. Как ренессансные политики останавливаются в эпистолярных рассуждениях, переходя к инвективам, так и Ильянен останавливается в написании своих пьес и романов, переходя к новому типу достоверного высказывания о происходящем. Как вторая половина Кватроченто пришла от политики к свободной философии и новой мистике, так и Ильянен приходит к новой метакритике литературы, основанной на духовном понимании сообщения. В обоих случаях само письмо работает так, что и новые жанры высказывания, иные, чем гладкий письменный стиль, и новые политики становятся необходимы структурно, а не в рамках частных пожеланий. Мы можем говорить, что в лице Ильянена русский роман-блог достиг той необходимой зрелости, которой мы можем не просто восхищаться, но устанавливать строгие параметры соотношений с политическими и философскими высказываниями, учитывая, что медиум – это и способ рефлексии над тем, что можно сказать, а что – нельзя. Порукой здесь оказывается не только опыт Ренессанса, но и все его тупики, проблемы, конфликты и сломы литературной культуры.

Литература

Ильянен, А. Блог на платформе «ВКонтакте» // [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/id311972610> (дата обращения: 01.05.2020).

Ковриженко, Е.В. Образ идеального правителя в трактате Джованни Понтано «О государе» // Студенческая наука XXI века. 2015. № 3. С. 32–35.

Конаков, А.А. Эффекты стены слов // Новое литературное обозрение. 2015. № 6. С. 260–263.

Kostincová, J. «Между страницей и стеной»: русская цифровая литература в постцифровую эпоху // Новая русистика. 2016. Т. 9. № 2. С. 99–107.

Пикколомини Энеа Сильвио. История о двух возлюбленных / пер. Р. Шмараква // Носорог. 2017. № 6.

Черноглазов, Д.А. Античная эпистолярная теория в Византии: замечания о неизданном греческом учебнике из Cod. Vat. gr. 1405 // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2017. №. 21. С. 838–849.

De Keyser, J. (2015). Francesco Filelfo's feud with Poggio Bracciolini. In D. A. Lines, M. Laureys, & J. Kraye (Eds.), *Forms of conflict and rivalries in Renaissance Europe*, 17, 13–27.

Hagge, J. (1989). Ties that bind: ancient epistolography and modern business communication. *Journal of Advanced Composition*, 9, 26–44.

Monfasani, J. (1987). Three notes on Renaissance rhetoric. *Rhetorica*, 5(1), 107–118.

Poggio Bracciolini. (1964). *Opera omnia* (Vol. 3) (R. Fubini, Ed.). Torino: Bottega d' Erasmo.

Tinkler, J.F. (1987). Renaissance humanism and the genera eloquentiae. *Rhetorica*, 5(3), 279–309.

Ward, J.O. (2001). Rhetorical theory and the rise and decline of dictamen in the Middle Ages and early Renaissance. *Rhetorica*, 19(2), 175–223.

Witt, R.G. (1976). *Coluccio Salutati and his public letters*. Geneva: Librairie Droz.

References

Chernoglazov, D.A. (2017). Antichnaja jepistoljarnaja teorija v Vizantii: zamechanija o neizdannom grecheskom uchebnike iz Cod. Vat. gr. 1405 [Ancient epistolary theory in Byzantium: remarks on an unpublished Greek textbook from Cod. Vat. gr. 1405]. *Indoevropskoe Jazykoznanie i Klassicheskaja Filologija* [Indo-European linguistics and classical philology], 21, 838–849.

De Keyser, J. (2015). Francesco Filelfo's feud with Poggio Bracciolini. In D. A. Lines, M. Laureys, & J. Krayer (Eds.), *Forms of conflict and rivalries in Renaissance Europe*, 17, 13–27.

Hagge, J. (1989). Ties that bind: ancient epistolography and modern business communication. *Journal of Advanced Composition*, 9, 26–44.

Ilyanen, A. (n.d.). *Blog on the VKontakte platform*. Retrieved from: <https://vk.com/id311972610> (date of access: 05.01.2020).

Konakov, A.A. (2015). Efekty steny slov [Word wall effects]. *Novoe Literaturnoe Obozrenie* [New Literary Observer], 6, 260–263.

Kostincová, J. (2016). «Mezhdu stranicej i stenoj»: russkaja cifrovaja literatura v postcifrovuju jepohu [“Between the page and the wall”: Russian digital literature in the post-digital era]. *Novaja Rusistika* [New Russian Studies], 9(2), 99–107.

Kovrizhenko, E.V. (2015). Obraz ideal'nogo pravitelja v traktate Dzhovanni Pontano «O gosudare» [The image of the ideal ruler in the treatise of Giovanni Pontano “On the Sovereign”]. *Studencheskaja nauka XXI veka* [Student science of the XXI century], 3, 32–35.

Monfasani, J. (1987). Three notes on Renaissance rhetoric. *Rhetorica*, 5(1), 107–118.

Piccolomini Enea Silvio. (2017). Istorija o dvuh vozljublennyh [A story about two lovers]. *Nosorog* [Rhino], 6.

Poggio Bracciolini. (1964). *Opera omnia* (Vol. 3) (R. Fubini, Ed.). Torino: Bottega d' Erasmo.

Tinkler, J.F. (1987). Renaissance humanism and the genera eloquentiae. *Rhetorica*, 5(3), 279–309.

Ward, J.O. (2001). Rhetorical theory and the rise and decline of dictamen in the Middle Ages and early Renaissance. *Rhetorica*, 19(2), 175–223.

Witt, R.G. (1976). *Coluccio Salutati and his public letters*. Geneva: Librairie Droz.

**PATTERNS OF RENAISSANCE EPISTOLOGRAPHY IN THE EXPERIMENTAL PROSE
OF ALEXANDER ILYANEN**

Alexander V. Markov, Dr. Habil., Professor, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia; e-mail: markovius@gmail.com.

Abstract. The online prose of Alexander Ilyanen, recognized as one of the most significant experiments of Russian literature today, is not only a reflection on the possibilities of writing and utterance, but also an experience of rewriting of written forms. Recent prose of Ilyanen is a kind of philological observation of the usability of different types of writing to assemble a meaningful statement about the current quarantine situation. Correlation of these types of writing with the usual genres is not relevant, even introducing general framework of the novel and drama. Renaissance Italian epistolography as a way of producing situations, rather than roman à clef, clarifies Ilyanen's prose strategies. A detailed analysis of the Renaissance letters by Poggio proves that he did not affirm the new model of language use, reviving the Cicero ideal, but he controlled effects of writing and biography, to improve official policy. The irony, intrigues, hints, social designing in these letters anticipate the tactics of professional blogging by eminent writers, but differ in responsibility for political decisions of both authors and persons mentioned.

Key words: epistolography, Renaissance, Poggio Bracciolini, Alexander Ilyanen, writing strategies, reflection, network literature.

